

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН  
О ЛЮБВИ, СПОСОБНОЙ ПЕРЕЖИТЬ ШТОРМЫ И ВРЕМЯ

Боспор.  
Царство хлеба,  
богов и страстей.  
Здесь любовь —  
опаснее войны,  
а верность —  
дороже власти.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  
ЭЛЛАДЫ  
И СТЕПИ

# ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ БОСПОРА

ХРОНИКИ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА



ЛЮБОВЬ



ПРЕДАТЕЛЬСТВО



ХЛЕБ



ВЛАСТЬ



ВОЙНЫ



СУДЬБА



НАСЛЕДИЕ



ТАЙНЫ



ВЕЧНОСТЬ

МЕЛАНИ ХАДРО

Мелани Хадро  
**Девять жизней Боспора**

«Автор»

2026

## **Хадро М.**

Девять жизней Боспора / М. Хадро — «Автор», 2026

"Девять жизней Боспора" - эпический роман о тысячелетней истории Боспорского царства, написанный в тонкой, чувственной манере. От первых греческих колонистов до гибели Пантикапея под ударами тюркских орд — девять глав, девять эпох, девять историй любви, переплетенных с большой историей. Хлеб и кровь, мрамор и степной ковыль, кресты и языческие алтари - здесь оживает мир, где Эллада встречается со Степью, а душа вечно ищет свободы и нежности. Это проза, которая пахнет морем и полынью. Которая звучит — как прибой, как молитва, как забытая песня. Которая остаётся с вами навсегда.

© Хадро М., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

# Девять жизней Боспора

## Глава

### Глава I. Стук топора в тумане

(Конец VII — первая половина V в. до н.э.)

Мгла стояла над Проливом в тот предрассветный час — та особенная, густая, молочно-седая мгла, какая бывает только поздней киммерийской осенью, когда море еще дышит накопленным за лето теплом, а ветер с Рифейских гор уже несет первое ледяное дыхание зимы. Дозорный на носу триеры, немолодой уже иониец с лицом, изрезанным, как старая корабельная обшивка, до рези в глазах вглядывался вперед, но не видел ничего, кроме клубящейся белизны. Только слышал — как где-то справа, невидимый, тяжело вздыхает под накатом берег, как вскрикивают потревоженные кем-то чайки, как плещет рыба в тростниках.

— Эй, Фок, — негромко окликнул он кормчего, стоявшего у рулевого весла с той особой, скульптурной неподвижностью, которая дается лишь многолетней привычкой. — Помнишь тот восход у Самоса? Когда мы уходили от финикийцев?

Кормчий не ответил. Он и сам помнил — и тот розовый, нежный, как перламутр, восход над Икарией, и крики чаек, и то, как они, все тридцать восемь человек, затаив дыхание, слушали плеск вражеских весел где-то рядом, в тумане. Тогда им повезло. Тогда они еще верили, что плывут к новой жизни.

То было в год шестьдесят второй олимпиады, за семь лет до того, как архонт-эсимнет Фразибул взял власть в родном Милете. Родной город задыхался — то от лидийского серебра, то от персидской дани, то от собственных распрей. Все, кто мог держать весло или плуг, смотрели на запад, туда, где, по слухам, лежали земли, не знавшие ни царя, ни подати, ни гнета. Земли, где можно было просто жить.

Туда и держал путь корабль, на котором сейчас, вцепившись побелевшими пальцами в планшир, стоял юный Алким, сын Мнесикла из аттического дема Эноя, по прозвищу Рыжий. Ему едва минуло девятнадцать, и он был единственным из всей экспедиции, кто не мог похвастаться ни знатностью рода, ни богатством оружия. Все его наследство составляли старый отцовский меч с зазубриной на лезвии, две серебряные драхмы, зашитые в пояс, да то, что не отнять никакому лихоимцу — удивительная способность видеть красоту там, где другие видели лишь грязь и опасность.

Туман стал редеть. Сперва проступило что-то темное, мохнатое — гребень холма, поросшего дубняком; потом, ниже, белая полоса прибоя, лизавшая рыжие, растрескавшиеся скалы; наконец, зажата между двух скалистых мысов, открылась бухта — глубокая, почти круглая, как перевернутый щит.

— Пантикапей, — выдохнул кто-то на носу.

Говорили, что название это пошло от скифского слова, означавшего «рыбный путь». И правда: вода в бухте так и кипела от косяков кефали и бычков, а дно просвечивало на три человеческих роста. Но не рыба была главным сокровищем этой земли. Главным сокровищем был хлеб — тот самый удивительный, здешний колос, что родился на тучных приазовских черноземах без всякого полива, сам-двадцать, а то и сам-тридцать. Ради него и шли сюда, на край Ойкумены, отчаянные головы из Милета, Теоса, Митилены, Афин.

Таврида встретила их молчанием, тем особенным глубоким молчанием, какое бывает только на ещё не обжитой земле. Здесь даже море звучало иначе — не так, как в Ионии: там оно накатывало на мраморные набережные с ленивым, сытым плеском, а здесь билось о дикие скалы с протяжным, утробным вздохом, словно огромный зверь, ворочающийся во сне. Пахло горькой полынью, разогретой на солнце, и диким чабрецом, и ещё чем-то неуловимо печаль-

ным — быть может, самой древностью этой земли, помнившей времена, когда не было ещё ни эллинов, ни скифов, а только море, степь и небо, огромное, как опрокинутая чаша. Алким стоял на ещё не остывшем после дневного жара камне и думал о том, что эта земля — она как чистый воск, на котором ещё ничего не написано. И от этой мысли ему становилось страшно и радостно одновременно, как бывает только в юности, когда будущее лежит перед тобой нетронутой тропой, убегаящей за холмы, в туманную, полную тайн даль.

Высадка прошла под крики скифских дозорных. Скифы — те самые «дояры кобылиц», о которых еще старик Гесиод писал как о народе странном и грозном, — уже знали греков. Знали их медь, их расписную керамику, их виноградное вино, от которого тяжелели головы их вождей. Знали — и потому не спешили нападать сразу, выжидая: пришли эти странные люди с белой кожей как торговцы или как захватчики?

Алким видел их впервые. Скифы сидели на низкорослых, мохнатых лошадях чуть поодаль от берега — человек двадцать, не больше, — и молча смотрели на выгружающихся греков. Одеты они были в кожаные штаны и островерхие войлочные шапки; у каждого на поясе висел короткий меч-акинак, а за спиной — горит с луком. Но более всего поразили юношу не оружие и не лица их — скуластые, с раскосыми, спокойными, как у сытых зверей, глазами, — а запах. От скифов пахло конским потом, горьким дымом кизяка и еще чем-то неуловимым — то ли полынью, то ли чабрецом, то ли самой степью, просторной и бескрайней, как море

- Смотри, Алким, запоминай, — усмехнулся старый гоплит Леонакт, поправляя на плече щит с вычеканенной на нем горгоной. — Вот она, твоя новая родина. Нравится?

Алким не ответил...

Он смотрел на берег и чувствовал странное, никогда прежде не испытанное волнение. Эта земля — сухая, каменистая, продуваемая всеми ветрами, пахнувшая полынью и рыбой, — вдруг показалась ему обещанием. Обещанием жизни, в которой все будет по-другому.

Первое поселение поставили быстро. Срубили десяток деревьев на склоне холма, обтесали, укрепили на скорую руку частокол — не столько для защиты, сколько для обозначения: здесь отныне земля эллинов. Оракул Аполлона Дидимейского, к которому, как водилось, обратились перед отплытием, дал двусмысленное прорицание — что-то о «страже у переправы» и о «рыбе, которая станет хлебом». Теперь, глядя, как в вечернем свете розовеет гладь бухты и как местные рыбаки-тавры, не обращая на пришельцев никакого внимания, тянут к берегу тяжелые сети, Алким вдруг понял: вот она, переправа — пролив между двумя морями, между Европой и Азией, — и вот она, рыба, которая станет хлебом для тысяч и тысяч людей.

Прошло пять лет. На месте первого частокола выросли настоящие стены из грубо отесанного камня. На акрополе, там, где прежде стояла только сторожевая вышка, заложили фундамент храма Аполлона Врача — скромного, без мраморных колонн и фронтонов, но с настоящим алтарем, на котором жрец-пифиец трижды в месяц приносил жертвы. Дома лепились по склону холма уступами, как соты, и каждый новый корабль из Ионии привозил все новых и новых поселенцев.

Алким Рыжий жил теперь в собственном доме — не бог весть каком, всего-то в две комнаты, но с настоящим внутренним двориком, где он посадил старую, привезенную из-под Афин лозу. Лоза не принялась — вымерзла в первую же зиму; зато дикий крымский виноград, который он привил к местному кусту боярышника, пошел в рост с неожиданной силой, оплел всю стену, и теперь каждую осень тяжелые, терпкие гроздья свисали прямо к окну.

Соседкой его была женщина, которую в поселке звали просто «Гето» — «Гетянка». Настоящего ее имени никто не знал. Она была из племени синдов, живших на том, азиатском берегу Пролива, и попала в Пантикапей при обстоятельствах, о которых она не любила рассказывать. Говорили разное: одни — что она дочь вождя, взятая в заложницы; другие — что беглая рабыня, выкупившая свободу у пиратов-ахейцев. Сама она молчала, и молчание это было красноречивее любых слов.

Она была высока ростом — выше многих гречанок, — широкоплеча, с длинными, иссиня-черными волосами, которые заплетала в две тугие косы. Глаза у нее были того редкого зеленовато-серого оттенка, какой бывает у степных трав на исходе лета, а кожа — смуглая, но не грубая, а как будто светящаяся изнутри теплым, живым светом. Гречанки в поселке недолюбливали ее — за то, что ходила без покрывала, за то, что говорила с мужчинами прямо, не опуская глаз, за то, что знала целебные травы и умела заговаривать кровь. Но мужчины — мужчины, встречая ее на улице, невольно замедляли шаг.

Алким впервые увидел ее в тот самый день высадки. Она стояла на скале над бухтой — неподвижная, прямая, как кипарис, — и смотрела не на корабли, а куда-то вдаль, за пролив, туда, где в сизой дымке угадывался азиатский берег. Ветер трепал подол ее длинного, грубого платья, и было в ее позе что-то такое, от чего у юноши вдруг сжалось сердце: то ли бесконечное одиночество, то ли бесконечная гордость.

Теперь, спустя пять лет, она жила рядом с ним — через два дома, у самой оборонительной стены, — и он до сих пор не знал о ней почти ничего. Только слышал иногда по вечерам, как она поет — низким, гортанным, незнакомым греческому уху голосом — странные, протяжные песни, в которых не было слов, а была одна бесконечная, как степь, мелодия.

В тот год, о котором идет речь — а шел он по афинскому счету в архонтство Фемистокла, — на Проливе стало беспокойно. Скифы, еще вчера мирно торговавшие с греками, вдруг перестали пригонять скот на меновой рынок у подножия акрополя. Потом исчезли скифские дозорные, обычно маячившие на дальних холмах. Потом в поселке нашли тело греческого купца — он лежал у самой воды, со стрелой в спине, и лицо его, облепленное мухами, было страшно и жалко одновременно.

Совет старейшин — десяток человек, избравшихся на год, — собрался в пританее. Говорили разное. Одни предлагали слать гонцов в Милет за помощью; другие — строить стену выше; третьи — самим ударить первыми, пока не ударили скифы. Но больше всех говорил Фок, тот самый кормчий, что когда-то вел корабль в тумане. Теперь он был архонтом-эпонимом, и власть его, хоть и ограниченная законом, ощущалась в поселке во всем — от порядка на рынке до толщины городских стен.

— Мы не можем воевать со Степью, — сказал он на совете. — Мы можем только договориться с ней. Или умереть.

Алким слушал эти речи и молчал. Он знал, чего хочет Фок: женить сына на дочери местного скифского вождя. Это было по-гречески, по-ионийски — так сами милетяне когда-то породнились с карийцами, так эолийцы смешались с мисийцами. Но Алким думал о другом. Вернее, о другой.

О Гето.

Он приходил к ней в тот вечер, когда поселок гудел, как растревоженный улей, и никто не обращал внимания на то, куда идет молодой аттический переселенец. Она сидела у очага и толкла в ступке какие-то пахучие корни. Не поднимая головы, сказала:

— Вы, греки, думаете, что Степь — это враг. Но Степь — это как море. Она не друг и не враг. Она просто есть.

— И что же нам делать? — спросил Алким.

Она подняла на него свои зеленовато-серые глаза, и в свете очага они показались ему почти золотыми.

— Жить, — сказала она. — Просто жить. И помнить, что за каждым холмом — другой холм, а за ним — еще один. И везде живут люди.

Он не помнил, как это случилось. Только помнил запах — горьковатый, травяной, исходивший от ее волос, и вкус терпкого, как ее речь, вина, и то, как за окном, над Проливом, всходила огромная, медно-красная луна. А еще — ее шепот, странный и певучий:

— Ты рыжий, как степной огонь. Так гори, пока горится.

К весне угроза отступила. Скифы прислали послов с дарами — тремя конями и связкой бобровых шкур, — и совет согласился на перемирие. Фок добился своего: его младший сын Никий был помолвлен с дочерью скифского номарха, и это означало, что торговля продолжится, а стены пока можно не наращивать.

А Гето в ту весну вдруг исчезла из поселка. Никто не знал, куда она ушла; только старый рыбак-тавр, чинивший сети у пристани, сказал Алким, что видел, как на рассвете она переправилась на азиатский берег в утлой, просмоленной лодчонке. И была она будто бы не одна, а с младенцем на руках. И младенец тот был — рыжий.

Алким долго стоял на скале над бухтой — на том самом месте, где впервые увидел ее пять лет назад, — и смотрел за пролив, где в утренней дымке угадывались очертания холмов чужого, неведомого берега. Ему вдруг вспомнилось пророчество: «рыба, которая станет хлебом». Тогда он думал, что это просто метафора — хлеб, зерно, колос. Теперь он понял иное: хлеб — это жизнь, а жизнь продолжается только там, где есть любовь. И пусть эта любовь ушла за пролив, в степь, в неизвестность — она была, а значит, была и жизнь.

Ветер крепчал, гнал по серому, подернутому рябью морю белые барашки. Где-то далеко, на акрополе, ударили в бронзовый диск — созывали на вечернюю молитву Аполлону. Алким перекрестился по-старинному, как делали еще его деда в Аттике, и пошел вниз, к поселку.

С моря тянуло солью и водорослями. И еще — едва уловимым, горьковатым запахом полыни. Запахом Степи.

## **Глава II. Династия, ушедшая во тьму (480 – 438 гг. до н.э.)**

В год, когда афиняне разбили персов при Саламине, а спартанцы стояли насмерть у Фермопил, в Пантикапее произошло событие, о котором не писали ни Геродот, ни Фукидид, но которое изменило судьбу всего Понта Эвксинского на четыре столетия вперед.

Зима в тот год выдалась такой, каких не помнили даже старики, чья память уходила вглубь на шестьдесят, а то и на семьдесят лет. Снег лежал не только на вершинах холмов, но и в самой низине, у моря, где обычно он таял в несколько дней. Теперь же берег сковало тонкой, хрупкой коркой льда, и рыбацкие лодки, вытащенные на берег, стояли, засыпанные снегом, точно могильные холмики. По утрам над Проливом поднимался пар — море дышало, как живое существо, и в этом дыхании чудилась какая-то древняя, ещё догреческая печаль.

Случилось это в месяце антестерионе, когда над Проливом еще висят холодные туманы, а море штормит так, что даже рыбаки-тавры не рискуют выходить на промысел. Совет архонтов десяти полисов — Пантикапея, Нимфея, Фанагории, Кеп, Гермонассы, Мирмекия и прочих, что лепились по обоим берегам Боспора Киммерийского, — собрался в пританее на акрополе. Собрался тайно, без обычных глашатаев и жертвоприношений, так что даже большинство горожан не знало, что в эту ночь решается их участь.

Причиной был страх. Тот особенный, липкий, как предрассветный туман, страх, который последние месяцы полз по поселкам вместе со слухами о скифах. Говорили, что царские скифы — те самые, что кочуют за Тафросом, — заключили союз с таврами и меотами и готовятся ударить по греческим колониям одновременно с запада, севера и востока. Говорили, что их конница насчитывает тридцать тысяч всадников. Говорили, что даже Фанагория, лучше всех защищенная с моря, не устоит перед их натиском.

Правда это была или нет — не знал никто. Но то, что видели дозорные со стен Пантикапея, не оставляло сомнений: на дальних холмах, там, где прежде дымились только редкие костры пастухов, теперь по ночам полыхало зарево. И зарево это росло.

— Надо слать гонцов в Милет, — сказал архонт Нимфея, дородный, седобородый Самий, бывший наварх, потерявший левый глаз в битве с пиратами-ахейцами. — Без помощи метрополии нам не выстоять.

— Милету не до нас, — мрачно ответил Фок, архонт Пантикапея. Лицо его, всегда спокойное, как море в штиль, теперь осунулось, и в глазах появился тот особенный, тусклый блеск, какой бывает у людей, слишком долго не знавших сна. — Персы обескровили Ионию. С кем ты будешь воевать — со стариками и детьми?

— Тогда — Афины, — не унимался Самий. — Аристид Справедливый не откажет.

Фок усмехнулся. Афины были далеко, а скифы — близко. И пока афинская триера будет гибнуть мыс Суний и плыть через Эгеиду, Геллеспонт и Понт, здесь, на этих каменистых холмах, уже не останется ни одного живого грека.

— Нет, — сказал он тихо, но так, что голос его услышали все. — Мы должны объединиться сами. Все полисы, оба берега Пролива. И власть над объединенным войском должна быть в одних руках. Иначе мы погибнем поодиночке.

В пританее повисла та особенная, звенящая тишина, какая бывает только перед бурей или перед боем. Все понимали, что слова Фока означали конец свободы полисов. Что объединение — это тирания. Что кто-то должен взять власть. Но кто?

И тогда из глубины зала поднялся человек, которого мало кто знал в лицо, но имя которого уже несколько лет шепотом произносили на рынках и в портах. Он был невысок, сухощав, с лицом, изрезанным ранними морщинами, и с тем особенным, цепким взглядом, какой бывает у менял, считающих чужое золото. Одевался он без обычной для архонтов пышности — простой гиматий, грубые сандалии, — но на шее у него висел тяжелый золотой медальон с изображением орла, терзающего зайца. Символ власти, которую еще никто не признал, но которую уже все чувствовали.

— Меня зовут Археанакт, — сказал он. — И я беру власть над объединенным войском.

Так началась эпоха, которую много веков спустя историки назовут «династией Археанактидов».

В ту же ночь, когда архонты еще спорили в пританее, в доме у самой восточной стены Пантикапея сидела женщина. Звали ее Гекатея, но это имя она получила от греков; сама же она была из племени синдов — тех самых, что жили на азиатском берегу Пролива и говорили на языке, в котором греческое ухо улавливало только странные, гортанные созвучия. От синдов у нее были высокий, чистый лоб, иссиня-черные, заплетенные в две тугие косы волосы и та особенная, плавная походка, какой степные женщины ходят по ковылю — будто плывут.

Она была рабыней. Три года назад ее, тогда еще совсем юную, захватили тавры во время набега и продали в Пантикапей меняле-трапедзиту, который держал ее при доме для черной работы: молоть зерно, носить воду, стирать хитоны. Но в отличие от многих рабынь, сломавшихся под гнетом неволи, Гекатея оставалась гордой.

Она не поднимала глаз, когда с ней говорили хозяева, но в этих опущенных глазах тлел такой огонь, что даже сам трапедзит, старый, циничный, выдавший виды, порой отводил взгляд. Иногда, кутаясь в грубый шерстяной плащ, подаренный ей старым трапедзитом, Гекатея выходила к восточной стене и смотрела на тот берег, где в туманной дымке угадывались холмы Азиатского Боспора. Там, за этой белой пеленой, лежала её родина. И ей казалось, что снег, покрывший степь, хранит в себе не только холод, но и память — память о травах, что отцветут весной, о птицах, что вернутся с юга, о людях, что ушли и уже не вернутся никогда.

В тот вечер она сидела у очага и молча смотрела, как пляшут языки пламени. В доме было тихо — хозяин ушел на совет, челядь разбрелась, и только старый сторожевой пес изредка постукивал хвостом о каменный пол. Гекатея думала о своем. Точнее — о том, о ком ей думать не следовало, но о ком она не могла не думать.

Его звали Арг. По-гречески это имя ничего не значило — просто короткий, отрывистый звук, похожий на крик чайки. Но по-скифски, как он сам говорил, «арг» означало «быстрый», «стремительный». И он действительно был таким: высокий, жилистый, с выгоревшими

на солнце волосами, собранными на затылке в узел, и с тем особенным, легким шагом, каким ходят люди, привыкшие больше времени проводить в седле, чем на земле.

Он был скифским переводчиком — одним из тех, кого греки называли «глашатаями степи». Такие люди жили на два мира: с утра торговались на рынке с купцами из Милета, к вечеру сидели у костра с кочевниками, пили кумыс и переводили речи вождей. Их не любили ни те, ни другие, но без них не могли обойтись ни те, ни другие. И когда Археанакт начал тайные переговоры со скифскими номархами, именно Арг стал его правой рукой.

Гекатей впервые увидела его полгода назад, на рынке. Он стоял у прилавка с расписной керамикой и что-то быстро, гортанно говорил скифскому вождю — огромному, краснолицему, в островерхой шапке из лисьего меха. Вождь то хмурился, то кивал; Арг переводил — и вдруг, на мгновение, поднял глаза и встретился взглядом с Гекатеей.

Она тогда несла воду от источника — тяжелая амфора давила на плечо, пот стекал по вискам, и она, наверное, казалась себе самой безобразной и жалкой. Но он смотрел на нее так, как никто никогда не смотрел — ни грек, ни скиф, ни свободный, ни раб. Смотрел с тем удивлением, какое бывает, когда человек неожиданно видит в толпе не лицо, а судьбу.

С того дня они стали встречаться тайно. Рабыня и переводчик — что могло быть безнадежнее?

Пантикапей той зимой жил ожиданием войны. На стенах круглосуточно дежурили дозорные; в кузницах у подножия акрополя с утра до ночи гудели меха, и молоты били по наковальням с такой яростью, будто сама Гефестова сила вселилась в здешних мастеров. Мужчины, еще вчера ходившие в хитонах и сандалиях, теперь облачались в тяжелые бронзовые панцири и не расставались с мечами даже в бане.

Археанакт правил твердой рукой. Он не называл себя царем — это слово слишком пахло варварством для греческого уха. Он называл себя «стратегом-архонтом», и на монетах, которые чеканили по его приказу, изображался лев — символ силы и бдительности. Но все понимали: это тирания. Просто тирания, спасительная для одних и ненавистная для других.

Гекатей мало что знала обо всем этом. Она знала только, что Арг теперь пропадает на долгие дни — уезжает в степь вместе с посольствами, о чем-то договаривается с вождями, что-то переводит. И каждый раз, когда она видела, как его легкая, стремительная фигура исчезает за городскими воротами, сердце ее сжималось от страха. В степи было опасно. Степь не прощала ошибок.

Он возвращался всегда неожиданно. Просто вдруг возникал на пороге ее каморки — запыленный, пропахший дымом и конским потом, с усталыми, но сияющими глазами, — и протягивал ей какой-нибудь подарок: то горсть сушеных степных ягод, то бусину из цветного стекла, то просто пучок ковыля, который в Пантикапее не рос.

— Ты похожа на этот ковыль, — сказал он однажды, когда они сидели у очага и ветер за окном гнал по небу рваные тучи. — Такая же тонкая, светлая. И такая же живучая.

— Я рабыня, — ответила она. — У рабыни нет родины и нет судьбы.

Он взял ее руку в свои — загрубевшие, в мелких шрамах, пахнущие кожей и железом — и долго молчал. Потом сказал:

— Ты не рабыня. Ты просто женщина, которая родилась не в том месте и не в то время. Но это можно исправить.

Он говорил о побеге. Сначала смутно, намеками; потом — все определеннее. У него были друзья среди скифов — те самые, для которых он переводил речи Археанакта. Они могли дать им лошадей. Они могли спрятать их в дальних кочевьях, за Меотидой, куда не добирались греческие триеры и где не было ни господ, ни рабов.

— Там степь, — говорил он. — Бескрайняя, как море. И небо — как опрокинутая чаша. Там пахнет полынью и чабрецом, и ветер гуляет, где хочет.

Она слушала и не верила. Не потому, что не хотела верить, а потому, что слишком долго жила в мире, где счастье было невозможно.

А потом пришла беда.

Случилось это в месяце элафеболионе, когда на акрополе справляли Великие Дионисии. Археанакт, как новый владыка объединенного государства, устроил пышное жертвоприношение: закололи быка, зажгли очистительные огни, и жрец-прорицатель, старый, слепой, но все еще грозный Каллий из Нимфея, возвестил, что боги благоволят новому порядку.

А на следующий день на рынке схватили человека.

Он был греком — по крайней мере, так говорили его хитон и сандалии. Но под хитоном у него нашли акинак — короткий скифский меч, а в поясе — золотые монеты с изображением скифского царя. Под пыткой он признался: его подослали царские скифы, те самые, что стояли за Тафросом. Он должен был отравить колодец у восточных ворот — тот, из которого брала воду половина Пантикапея.

Город взорвался. Толпа, еще вчера мирно торговавшая и спорившая о ценах на зерно, вдруг превратилась в разъяренного зверя. Гремели щиты, кричали женщины, плакали дети. Все, в ком текла хоть капля варварской крови, вдруг стали врагами. Схватили старого скифаменялу, который тридцать лет жил в Пантикапее и никому не делал зла; схватили двух синдов-оружейников; схватили даже женщину-таврянку, торговавшую лечебными травами.

Арг успел предупредить Гекатею. Прибежал ночью, запыхавшийся, с бешено бьющимся на шее пульсом, и прошептал:

— Завтра на рассвете. У Малых ворот. Я буду ждать.

Она хотела что-то ответить, но он уже исчез — как исчезает тень при свете молнии.

Но на рассвете она не смогла выйти. Хозяин, старый трапедзит, что-то заподозрил. Он велел запереть ворота и приставил к дому двух вооруженных рабов. Гекатея металась по каморке, как птица в клетке, и слушала, как за стеной нарастает шум — крики, топот, звон оружия.

Стража Археанакта прочесывала город.

Что случилось дальше, она узнала только через день. Ей рассказал старый гончар, который был влюблен в нее уже много лет и потому не выдал тайну, хотя знал о ней почти все.

Арга схватили у Малых ворот. Он ждал ее до последнего — ждал, пока первые лучи солнца не позолотили стены, пока не прозвучал утренний рожок на акрополе, пока на дороге, ведущей к воротам, не показались стражники. Тогда он выхватил акинак и бросился на них — не для того, чтобы убить, а для того, чтобы умереть быстро, в бою, как умирают скифы.

Но его не убили. Его скрутили, избили, заковали в цепи и бросили в подвал пританея. А наутро пришел Археанакт.

О чем они говорили — не знал никто. Говорили, что переводчик стоял перед тираном, прямой и спокойный, и смотрел ему в глаза без страха. Говорили, что Археанакт предложил ему свободу в обмен на предательство — на имена скифских вождей, задумавших заговор. Говорили, что Арг отказался.

На третий день его казнили. При всем народе, на площади у акрополя, под бронзовым диском, в который били, созывая на молитву. Палач-скиф, специально привезенный из-за пролива, сделал свое дело быстро и умело. Голова Арга скатилась в пыль, и толпа, еще вчера кричавшая «смерть варварам!», вдруг замолчала. Потому что перед смертью он успел крикнуть — не проклятие, не мольбу, а что-то на своем, скифском языке, что поняли не все, но что заставило побледнеть даже самого Археанакта.

Переводчики потом сказали: он кричал, обращаясь к кому-то, кого не было на площади. К женщине. И слова его были: «Ты — ковыль. Ты — живучая. Ты будешь жить».

Гекатея не умерла. Она не бросилась со скалы, не вскрыла себе вены, не утопилась в Проливе, хотя все это приходило ей в голову. Она осталась жить — сначала рабыней, потом,

после смерти трапедзита, вольноотпущенницей, потом — женой гончара, который когда-то не выдал ее тайну и который долгие годы любил ее терпеливо и безответно.

Она родила ему двоих сыновей. Но первого своего ребенка — того, что был зачат в ту последнюю ночь, когда Арг прибежал предупредить ее о завтрашнем побеге, — она родила еще раньше, в тайне, в дальней деревушке на азиатском берегу. И мальчик этот был рыжим — рыжим, как степной огонь, как осенний ковыль, как солнце, встающее над Проливом.

Гекатея прожила долгую жизнь. Она видела, как умирал Археанакт — он скончался через сорок два года после того, как взял власть, и власть перешла к новой династии, Спартокидам, которые были, говорят, из фракийцев или еще каких-то варваров. Она видела, как рос и богател Пантикапей, как строились новые стены и храмы, как чеканилась первая золотая монета с изображением льва. Она видела расцвет того государства, ради которого ее возлюбленный отдал свою жизнь.

Но до самого конца своих дней она помнила запах — горький, травяной запах полыни, исходивший от его волос, и этот же запах, который каждую осень приносил из степи ветер. И когда она, уже старухой, выходила на берег Пролива и смотрела на азиатский берег, где в сизой дымке угадывались холмы, ей казалось: где-то там, за этими холмами, за бескрайними ковыльными полями, все еще жива та степь, о которой он ей рассказывал. И, может быть, где-нибудь там, под опрокинутой чашей неба, все еще бродит его душа — быстрая, стремительная, как крик чайки над морем.

И каждый вечер, когда над Проливом зажигались первые звезды, она шептала — одними губами, чтобы никто не слышал:

— Арг.

И это было единственное слово на языке, которого уже никто не помнил. Единственное слово, которое стоило целой жизни.

### **Глава III. Царский хлеб**

#### **(389–349 гг. до н.э. — Правление Левкона I)**

В год, когда Левкон, сын Сатира, взял власть над Боспором, в Афинах стояла небывалая жара. Даже старожилы, помнившие засуху при архонте Фрасоне, не могли припомнить такого пекла: цикады трещали с рассвета до заката, маслины на склонах Акрополя осыпались, не успев налиться, а вода в Эридане протухла и пахла так, что жители Керамика затыкали носы тряпками. Но хуже всего был хлеб. Вернее, его отсутствие.

Афины уже который год воевали со Спартой, и спартанцы, как всегда, вытапывали аттические поля аккуратно и методично, словно не полководцы, а рачительные хозяева, объезжающие свои владения. Своей пшеницы не хватало; подвоз из Фракии прервался из-за пиратов; египетский хлеб шел медленно и дорого. Цены на агоре взлетели так, что беднота уже не роптала, а молча, страшно смотрела на запертые двери булевтерия.

Вот тогда-то Демосфен, сын Демосфена из дема Пеания, — не тот знаменитый оратор, что будет греметь через полвека, а его дед, человек простой и незнатный, но уважаемый за честность, — впервые услышал имя Левкона.

— Боспор, — сказал ему старый наварх Каллий, вернувшийся из плавания по Понту. — Там хлеб. Там столько хлеба, что им можно накормить все Афины, все Пирей, все Мегары и еще останется на посев.

— И кто же там правит? — спросил Демосфен.

— Варвар, — усмехнулся Каллий. — Но варвар умный. Говорят, он называет себя архонтом для греков и царем для варваров. И еще говорят, что он ищет дружбы с Афинами.

Через месяц Демосфен стоял на носу торговой триеры, державшей курс на север, в Понт Эвксинский, имея при себе рекомендательное письмо от афинского совета, мешочек с серебряными драхмами и тайное поручение, о котором не знала даже его жена.

Пантикапей встретил его запахом. Тем особенным, ни на что не похожим запахом большого портового города, где смешиваются ароматы свежего хлеба, дубленой кожи, соленой рыбы, винного уксуса и еще чего-то неуловимого, что Демосфен сперва принял за благовония, а потом понял: это степь. Степь дышала в этот город, как дышит огромный, невидимый зверь, прилегший отдохнуть у городских стен.

Город поразил его. Он ожидал увидеть варварское поселение — глинобитные хижины, частокол, грязные улочки, — а увидел настоящий полис, не уступавший размерами иным эллинским городам. Акрополь на горе Митридат белел мраморными колоннами храма Аполлона; террасами спускались к морю добротные каменные дома под черепичными крышами; в гавани теснились десятки кораблей — не только греческие триеры, но и приземистые, широкобокие суда синдов, и легкие, обитые кожей лодки скифов.

Но более всего поразил его рынок. Агора Пантикапея была вдвое больше афинской и шумела на десяти языках сразу. Здесь продавали фракийских рабов и скифских коней, египетский папирус и родосские амфоры, китайский шелк, пришедший неведомыми караванными путями, и меха из лесной Скифии, и золото из Рифейских гор. Но главным товаром, занимавшим целый ряд длинных каменных складов у самой воды, было зерно. Пшеница, ячмень, просо — горы, холмы, целые хребты зерна, от одного вида которого у афинянина закружилась голова.

— Это все — отсюда? — спросил он у проводника, молодого грека-пантикапейца с быстрыми, чуть раскосыми глазами, выдававшими примесь местной крови.

— Это — с царских полей, — ответил проводник. — Там, за городом, на сто стадиев тянутся пашни. А за проливом, на азиатской стороне, — еще на триста. Синды и тореты платят дань зерном. Царь Левкон говорит: «Хлеб — это кровь Боспора. Пока течет кровь — живет тело».

Демосфен запомнил эти слова. Потом, много лет спустя, он повторит их своему внуку — тому самому Демосфену, который станет величайшим оратором Эллады и будет в своих речах называть боспорских царей «благодетелями афинского народа».

Аудиенцию у Левкона ему назначили через три дня после прибытия. Все это время он провел в городе, присматриваясь, запоминая, записывая. Он видел, как работают царские зернохранилища — огромные, вырытые в склоне горы ямы, обмазанные глиной и перекрытые бревенчатыми сводами. Видел, как грузят на корабли амфоры с пшеницей. Видел монетный двор, где чеканили серебро и золото с изображением льва и колоса. Но более всего его интересовали люди.

На третий день он увидел ее.

Она шла по рыночной площади — высокая, стройная, в длинном белом пеплосе, какие носят только жрицы, — и толпа расступалась перед ней, как вода перед носом корабля. Лицо ее было закрыто легким покрывалом, но даже сквозь ткань угадывались черты той особенной, строгой красоты, какая бывает только у женщин, с юности посвятивших себя божеству. Она была жрицей Деметры — Деметры Фесмофоры, Законодательницы, чей храм стоял на склоне акрополя, рядом с храмом Аполлона, и чтился в Пантикапее едва ли не больше всех прочих богов. Ибо Деметра была богиней хлеба, а хлеб был душой Боспора.

Звали ее Каллисто. Она была дочерью старого жреца Тимофея, происходившего из древнего милетского рода, и матери-синдянки, которую Тимофей когда-то выкупил из рабства и сделал законной женой. От матери Каллисто унаследовала глаза — те самые, чуть раскосые, зеленовато-карие, какие бывают у степных женщин, — и ту особую, плавную грацию движений, какую не приобрести никаким воспитанием. От отца — знание священных гимнов, умение толковать волю богов и ту внутреннюю, не показную набожность, которая заставляла ее каждый вечер, несмотря на усталость, возжигать благовония перед алтарем богини.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.